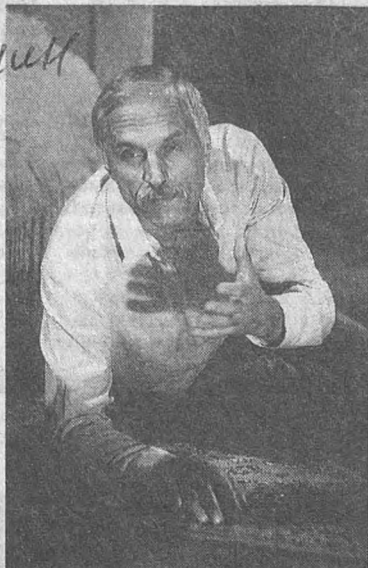


Апостол Вениамин

Встретясь с народным артистом Молдавии, председателем Союза театральных деятелей республики, известным актером и режиссером Вениамином Гавриловичем Апостолом, я решила начать разговор, как говорится, с места в карьер.



— Итак, Вениамин Гаврилович: что у вас наболело?

— Боюсь, я не оригинален — болит, прямо душу мучает тяжелейший кризис нашего дела. Могут сказать, что, дескать, это уже банально. Кризис театра трагично переживают театралы как по одну, так и по другую сторону рамп. Достаточно взглянуть на прессу, особенно театральную.

Большинство из прочитанного в последнее время в московских да и в местных изданиях трогает сердце острой, неподдельной тревогой за судьбу театра, вообще художественной жизни и мысли в наши, выражаясь бунинским языком, окаянные дни, а в конечном счете — души людей. Но порой создается впечатление, что ожесточенные споры, переходящие иногда в открытые перепалки, ведутся лишь вокруг прочно застолбленной темы: преодоление проклятого наследия тоталитаризма.

Не спорю, тема ныне увлекательная, дающая немало возможностей для размышлений и обобщений, для выпуска, образно выражаясь, того пара, что накопился в душах и обществе в целом под клапанами многолетнего духовного и прочего прессинга. Тут я и сам готов говорить буквально часами.

Жизнь, круто замешанная на двойной, тройной морали, предъявляла соответствующие жесткие требования и к театру. Одни спектакли — для юбилеев, для показа «небывалых достижений» и «расцвета», другие — проходные, третьи — кассовые... Не над этим ли смеялась маска театра? И не над собой, утратившей доверие зрителя? Один из самых знаменитых лозунгов прошлых лет «Искусство принадлежит народу» стал просто декорацией в ряду не менее промких лозунгов и призывов, покрывшихся невидимой ржавчиной демагогии и фарисейства.

А ведь известно, что театр — это своеобразная модель общества со всеми его недугами и особенностями. Вот тебе и основной алгоритм того кризиса, о котором мы сейчас столько толкуем.

Я хочу попытаться перебраться мостик рассуждений к выражению Питера Брука, открывающему в нашей беседе принципиально иной оперативный простор: «Человек приходит в театр, чтобы увидеть и то, что уже знает (ибо иначе он почувствует себя в полном вакууме), и то, что до сих пор было ему неизвестно. То есть театр, это место, где осуществляется встреча познанного и непознанного».

Что же в таком случае для нас оживает «непознанное»? Вроде бы никаких тайн уже не осталось. Вниманием известных и не очень известных режиссеров не обойден, казалось бы, ни один пласт драматургии. Классика и современность препарируют душу человека с подробностями, требующими подчас уже хирургических терминов. А уж самого человека раздевают на сцене донага (что все чаще случается в буквальном смысле), пытаюсь как можно достовернее показать губительные последствия чудовищного силового поля тоталитаризма. И все же, и все же... Меняются театры и пьесы, актеры и роли, а главный эффект остается одним: узнавание. Узнавание все более горькой, самой горькой правды о себе, о том обществе, в котором мы все терпели, о той идеологической мифологии, которая нас всех коржила и гнула.

Это, конечно, важно. Возможно, сверхважно. Но это не может свертываться до бесконечности. Тем более для театра. Ибо тогда мы попадаем в то же, когда-то жестко для нас отведенное русло пресловутого перевоспитания человека. Вдумаемся. Все, что можно было сделать фальшивого с нашей историей, общества, индивидуума, уже сдернуто прессой, литературой. Разоблачительство приелось, о чем свидетельствует и резкое падение интереса к периодической печати, толстым журналам. А ведь мы, театр, не делаем и не должны делать своего рода моментальный снимок общества. Мы исследуем по срезу этого снимка глубинные процессы, вечно происходящие в человеческом сознании.

Только при таком подходе возможно навсегда отказаться от скомпрометировавшего себя большевистского лозунга насильственного переделывания человека, силового реформирования общества. Да, сейчас нам нужно иметь мужество признать, что дарованные нам свободы — это мое глубокое убеждение — не завое-

Вениамин Апостол:

В кругу дарованных свобод

ванные, а дарованные, такова, по-моему, особенность нашего исторического момента, — так вот, эти свободы не включили и не могли включить некий фантазмагорический режим автоматического реформирования личности. Трагедия состоит в том, что за многие десятилетия невиданной форсированной обработки мозгов произошли глубокие изменения самой психологической структуры этой личности. Если говорить по большому счету, мы разучились мыслить, сомневаться, сопротивляться... Потому-то сейчас само понятие «свобода» не распространяется чаще всего для нас самих за бытовые координаты, а в душе большинство постсоветских людей жаждут все же культ. Ну, может быть, не культ, а такого не страшного, но очень удобного (чтобы не размышлять, не мучиться, не выбирать!) культика, будь то очередной вождь, идея или доктрина.

— Вот мы и подошли к чеховскому призыву вытравлять в себе раба. Чем не задача для театра, особенно сейчас!

— Задача для художника. Но не для театра. Театр же должен воспринимать этот мир таким, каков он есть. Тут очень важный момент. Можно даже сказать, квинтэссенция. Не таким, каким он должен быть в силу очередной идеологической или государственной доктрины, не очередного учения, которое «васильно», потому что оно верно», а каков уж есть. То же — и о человеке. Не толкать его насильно к пресловутому духовному раскрепощению, а создавать для этого внутренние предпосылки, вернуть веру в вечное — добро, справедливость, милосердие.

И тут есть новый для нас фактор, который родила наша действительность и на который, думается, общество должно внимания еще не обратило. Недавно я прочитал у Томаса Манна о периоде Великой депрессии 20-х годов в Америке: «Инфляция — это трагедия, которая порождает в обществе цинизм, жестокость и равнодушие». Взгляни вокруг — не правда ли, это ведь о нас? Художник теперь работает не над тем, в чем отразится вечное, а что можно продать и прокормиться. Тот художник, который еще вчера пытался — скользил, падал, поднимался, снова падал — идти наперекор политике массового сознания. Куда больше, чем боль ближнего, нас теперь интересует курс лея, рубля, доллара. И так далее.

Выходит, пока мы, словно глухари на току, бесконечно токовали о проклятом прошлом и показывали друг другу старые раны, подкралась к нам новая страшная опасность, нависла над нашими душами. И я еще не знаю, что трагичнее. Как противостоять этому? Кто, кроме разве что церкви, может помочь ныне душе, отбросившей, будто старые одежды, утверждение, что «человек человеку — друг, товарищ и брат»? Помочь этому самому человеку, которому теперь пытаются втолковать (опять же сверху), что никакой он уже не товарищ, а господин? Причем сам себе господин, и о том, как выжить ему и его семье, должен отныне заботиться только он сам.

А мы его пытаемся зазвать в театр, мы ломаем голову, что бы еще такое поставить, придумать, чтоб «привлечь к прекрасному». Я вот недавно побывал в родных Сороках, где всегда как бы отмажало сердцем. Знаешь, сколько стоит сейчас гонна угля? 10—12 минимальных зарплат!

— От категории вечного мы перешли к хлебу насущному...

— Нет, не перешли. Это я просто опять увлекся. Большинство людей устроены так, что о вечном думают лишь тогда, когда есть на столе хлеб. Фанатизм и жертвенность, как показал и наш собственный горький опыт, — явления переходящие. Об этом не нужно забывать нашим президентам, премьерам и депутатам, осо-

бенно когда они зовут нас в очередное светлое, теперь вот уже капиталистическое будущее.

По нашему обыкновению, мы и это будущее представляем весьма смутно. Сейчас, к примеру, панaceей чуть ли не от всех бед искусства многим видится меценатство. Слов нет — состоятельных людей становится все больше, в ряде случаев оказывают, скажем, кишиневским театрам помощь, иной раз субсидируют спектакли и целые программы. Но есть два обстоятельства, на которые следует обратить внимание. Когда-то на вековых традициях меценатства были взращены целые ветви культуры — театры, труппы, славные имена. Теперь получается, что оно, меценатство, должно поддерживать то, что формирова-

мандировками и контрактами, автомобилями и прочим, по выражению нынешних «крутых», джентльменским набором. К тем же редким особям, что, игнорируя «комки» и все эти «общества с ограниченной ответственностью» (какое символическое, однако, название!), по-прежнему спорят на кухнях, в тесных прокуренных кабинетах о Шагале, Друзе, Кафке, о древних монастырях — к ним нынешний интеллигентно-коммерческий мир относится в лучшем случае как к блаженным.

— К слову, об интеллигенции. Немалый резонанс в театральных кругах Кишинева вызвала телевизионная постановка режиссера Виталия Цапиша по чеховскому «Дяде Ване» с вами в главной роли. Может быть, совсем не в духе времени на авансцену вами была выведена внутренняя цельность русской интеллигенции, ее нравственность и духовность...

— Тут нет противоречия с тем, что я говорил выше. Я знаю, что многие российские театры (да и наш кишиневский

Русский театр) теперь прочитывают Чехова в ином ключе: стремятся показать, что хваленая русская интеллигенция в сути своей уже бесплодна, обречена, а вместе с ней и ее культура. Но мы с режиссером сознательно именно так построили психологическую канву спектакля, чтобы противостоять таким прочтениям.

Всю мою творческую жизнь меня притягивал Чехов. Еще учась в ГИТИСе у дорогого, незабвенного мастера Анатолия Эфроса, я буквально исследовал для себя этот великий, трагичный, смешной, добрый и жестокий мир, называемый одним словом — «Чехов». Он меня то притягивал, то отталкивал. То восхищал, то разочаровывал. И страшил своей непознаваемой, казалось, глубиной. Потом, уже в режиссерских работах, я порой ловил себя на том, что чеховские мотивы я перепеваю и в пьесах Вампилова, Иоселиани, Брехта...

Что это? Затем понял: жестокость, беспощадность жизни, мира просто подталкивали меня к чеховской доброте. Нет, не к всепопощению, а именно к все понимающей мудрой доброте, вере в извечную приоритетность человеческого добра. И когда Цапиш предложил мне роль Войничского, я как-то сразу осознал, что лучше сыграю сам, чем буду толковать актеру свое видение образа. Тем более образа, который как бы представляет слепок с моей собственной судьбы. Войничский, как и я сам, жил честно, вкалывая и вкладываясь на пределе возможностей. А потом встает извечный вопрос: а может, зря все было? Может, лучше, полезнее для себя было бы ловчить, приспосабливаться, лгать? Может, вся эта честность, порядочность и прочая отмечаемая ныне духовная мишура — все это придумано наивными простаками, страдающими комплексом неполноценности из-за отсутствия в характере настоящей хватки, напористости, деловитости? Нет и еще раз нет, сказал наш Чехов. Сколько живет человечество, столько его главными двигателями будут и присущие настоящей интеллигенции совесть, честь, аристократизм духа. И пусть мой образ получился как некая ностальгия по той наднациональной, сказал бы я даже, интеллигенции — выводя эту трагедию, мы, насколько могли, пытались сделать ее оптимистичной. В конце концов я ведь по сути своей оптимист.

— И последний вопрос. У вас завидная творческая судьба. В республике (да и не только в республике) вас знают как прекрасного актера. Не забываются ваши режиссерские работы. Вы возглавляли разные театральные коллективы. Сейчас вот с успехом руководите Институтом искусств Молдавии. Но при всех этих внешних метаморфозах внутренняя сверхзадача остается, похоже, одной: вы строите свой, по своему видению, по своему, так сказать, индивидуальному проекту театральный дом. Какой он, этот дом?

— Это самый трудный, наверное, из всех сегодняшних вопросов. Отвечая на него, как бы итожить пройденный путь. А мне итожить, надеюсь, еще рано. Хочу — и имею право! — еще мечтать. Так вот, после того, как жизнь побросала меня по свету, по родным и чужим углам, показала мне все свои бесконечные прекрасные и порой до ужаса уродливые стороны, после того, как я объездил много стран и столиц, — после всего этого я хотел бы действительно построить свой театральный дом. Чтобы стены в нем были выложены той особой неповторимой кладкой, которую знают только у нас в Сороках. Чтобы гоголь от него добротой и уютом чеховских страниц. Чтобы выделялся он четкостью, лаконичностью Брехтовской драматургии. Чтобы светилось в его убранстве и отделке буйство фантазии Ионеско. А самое главное — чтобы жильцам и гостям моего дома всегда было в нем тепло и хорошо.

Беседу вела
Виктория ПАСЕЧНИК,
кандидат педагогических наук.
КИШИНЕВ.